…и стучащему отворят.
Евангелие от Луки, 11:10

1

Мама моя, матушка Степановна, как звал я ее все последние годы, была родом с Тамбовщины. Из шестнадцати рожденных бабушкой Тоней детей выжили лишь четверо, и мама, по счастью для меня, оказалась среди последних. О том, как она явилась на свет, мне дважды рассказывала сама бабушка. В первый раз — когда меня, десятилетнего, отвезли в деревню на летние каникулы, а во второй — незадолго до бабушкиной смерти, в восьмидесятых, когда я уже стал немножко журналистом и научился профессионально прятать диктофон среди сахарниц и сухарниц. Оба раза бабушка рассказывала эту историю весело и со старческим бесстыдством, с неторопливой последовательностью нанизывая сложносочиненные предложе-

ния, аукавшиеся друг в друге целыми половинками. Такая в ее речи была изюминка.

— Пошли мы, значит, на речку Песковатку, — вспоминала бабушка, и голос ее подрагивал от какой-то неизбывной нежности. — Утром пошли, свеклу полоть. Белую свеклу-то, кормовую. Да-а-а, свеклу полоть пошли, а грядки длинные-длинные. От краю поля до Песковатки как раз две версты. Две версты до речки дойдешь, а там полевой стан, обедать привозят. Ну, обед привозят, искупнешься, покушаешь и обратно. Обратно тоже две версты, до краю. Потом домой уже. А тут искупалась, а и не покушала. Не могу. Не могу, Миша, чую схватки пошли. Последние. Девкам говорю, все, приперло, рожать надо, говорю. Ну, надо, так надо. Мужиков отогнали, платков на землю бросили, ложися, Тонька. Ну, легла, тужусь по привычке, ругаю себя, кричу, на чем свет. На чем свет кричу, а Нюрочка, мамка твоя, молча тужится. Молча, да быстро. Шустрая такая, мигом выскочила. Мигом выскочила, а девки пуповину перевязали, серп в Песковатке обмыли да и рассекли нас. Потом мамку твою прибрали, меня прибрали, к груди поднесли. К груди поднесли, и на телегу ее. А сами за тяпки и снова полоть…

— Бабань, а тебе больно было? — с ужасом спрашивал я, сопливый еще мальчишка.

— Дак хорошо было! — улыбалась бабушка. — Она ж девятая была, привычная.

— А потом что?

— Что-что… полежала часок да опять полоть. Трудодень-то, Миша, его заработать надо. Девки, правда, мою грядку тож потяпали. Да-а-а, потяпали кое-как, так что с ними вровень и встала.

— А потом что? — не унимался я.

Мне, десятилетнему, совсем неважно было, «что потом». Важно было уже рассказанное. Но почему-то не хотелось, чтобы бабушка умолкла, и те стремительные гладкие молнии, что струились внутри, разом сошли на нет.

— Потом да потом, от ты какой! — смеялась бабаня. — Потом домой пришла, постряпала. Ребятишек накормила, корову убрала. Корову убрала, всех уложила, да и сама спать.

— А дед обрадовался, да? — мне почему-то хотелось, чтобы дед обрадовался.

— Дак он в степи был, — разочаровала бабушка. — В степь ходил, валенки валять. А по правде, не валенки, а дурака. Дурака валял! Хоть и валенки тоже, и хорошие валенки-то. Быстро валял, помногу. Его и в Инжавино знали. Наваляет, из Инжавино приедут, нагрузят полну телегу и на ярмарку. А дед опять при деньгах. Деньгами-то Степа всегда помогал, а вот с детьми… Его в Кутырках все так и звали — Котом. И его, и четверых наших. И Кольку, и Ваню, и Глашу, и мамку твою. Пойдем, говорят, к Котам, у них попросим чего или там посоветуемся. Ты, видать, тоже Котом будешь, — смеялась она.

— Это как это?

— А так! Глаза у тебя вон какие. Черные, хитрые, горючие-горючие…

Кто и как котовáл, бабушка не уточняла, но замуж вышла мама поздно, почти тридцати лет. Меж тем берегом Песковатки, на котором отсекали ее серпом от бабушки, и стенами Костинского роддома, где явился на свет я, уместилась жизнь, ничем не отличавшаяся от тысяч других девичьих жизней, на долю которых выпало расти и взрослеть в деревне в первые десятилетия советской власти. Голод, холод и вши. Подлота деревенских комиссаров, шавровчики и лепешки из лебеды. Знаменитый на все Кутырки фруктовый бабушкин сад, до последнего корня изведенный на дрова. Дед мой Степан, идущий к обобществленной телеге по белому снегу в белых портках — прямо из постели изъятый и неизвестно куда увезенный.

В колхоз он так и не вступил. Ни красных, ни белых не жаловал, а жаловал одну лишь степь, куда, переделав дела, отсажав, откосив, свезя убоину на торг, стремился поскорее сбежать. Оттого делал все быстро, споро, с умом — чтоб поскорей на волю, чтоб никому не должать и чтоб не искали. Перед Семой Филиным, колхозным комиссаром, все отшучивался: «И что я колхозу твоему, я ж ни фарьи не умею! Валенки разве валять? Ай, валенки в город возить наладимся?». Когда Филин в очередной раз несолоно хлебавши сходил со двора, бабушка испуганно частила:

— Свезет он тебя, Степа! Мы одни не вступившие. Показатель портим. Не простит он!

— Ага! Беги, вступай, — угрюмо задирался дед. — Чтоб он мне каждое утро в окно палкой стучал, а вечером вместо хлеба галочкой в тетрадке платил? Да йоп я его показатель, — с оттягом, как кнутом, рассекал воздух дедушкин глагол. — И колхоз его йоп!

Увезли Кота зимой тридцать шестого года, а первое письмо пришло от него через пять лет. Он писал, что все у него хорошо, только очень болят ноги и что со дня на день вернется в Кутырки. И даже выслал почтовым переводом какие-то немыслимые по тем временам деньги. Четыреста рублей, что ли. Но до дома Кот так и не доехал. В последние дни июня 1941 года, в районном центре Инжавино, всего в тридцати километрах от Кутырок, пересадили деда Степана с кукушки на эшелон и бросили под Смоленск. Его похоронка была первой в деревне.

Почти сразу же маму и многих ее ровесниц, пятнадцатилетних девчонок, принудительно вывезли из деревни. На большом химзаводе в подмосковных Мытищах ее поставили у конвейера. Она пропитывала грубую ткань жидкой удушливой резиной, а резина день за днем пропитывала ее. Каждый день Нюрочкиным брезентом обтягивали новые фронтовые грузовички, а она каждый день грызла свой хлебушек и плакала. Через полгода не выдержала, сбежала домой. Ее, как и деда, ссадили с поезда, «вычислили» и отправили в Мичуринск, где на полгода, как дезертиршу, посадили в тюрьму. Эту историю я слышал от мамы не раз. И всегда меня поражало, что, вспоминая Мичуринск, мама начинала улыбаться и каждый раз говорила: «В тюрьме-то лучше было, сынок! И работой так не мучили, и воздух свежий был. Наш, тамбовский. А кормили как! Я на химзаводе столько хлеба не ела…»

Лет через пять после войны, когда деревня оголодала и, казалось, вымерла на веки вечные, вернулась Нюрочка в ненавистные ей Мытищи. Бралась за любую работу, горела у хлебной печи, мерзла обходчицей на «железке», белила потолки в клубах и скребла профсоюзные полы. Работала много, потому что помогала деньгами бабушке, мыкалась по общежитиям и съемным квартирам.

По прошествии еще лет пяти у мамы обнаружилась необычайная способность к шитью — придумывала красиво, шила прочно и отдавала недорого. В те годы повсюду развенчивали

культ личности. Люди менялись, мечтали стать, наконец, красивыми, богатыми и довольными. У мамы стали появляться такие нелишние «лишние деньги». Можно было откладывать, надеяться на лучшее и потихоньку кроить будущее из лоскутков предыдущего горького опыта. Тогда же встретила Нюрочка Витю своего. То, что у них родится мальчишка, и его назовут Михаилом, она узнала от Архангела — от Михаила же.

У мамы были какие-то очень странные и очень личные отношения с ним. Пока я не пришел в церковь, эта странность всегда раздражала меня. Она была совершенно необъяснима, потому что маме были свойственны спокойная практическая хватка и аккуратная воздержанность речи, воспитанные мытарствами военной и послевоенной юности. Тем не менее, Архангел Михаил являлся ей трижды — дважды наяву и потом во сне. Может, и еще являлся, но она рассказала мне только о трех встречах.

В первый раз приходил Архангел Михаил в Кутырки морозным зимним днем. Было маме лет пять, а значит, шел тридцатый год или около того. Года за два до первой их встречи, теплым сентябрьским днем Сема Филин вывел из храма смиренного и дряхлого кутырского батюшку, забросил на телегу, словно куль, и, ухмыляясь, стал запирать храм на замок. Когда же хмурые мужики двинулись на него, комиссар пальнул из нагана в воздух и крикнул в оцепеневшую толпу, что со дня на день назначено разорять Воскресенскую церковь, и это вопрос решенный! Будет устроен в ней сельсовет, и будут теперь Кутырки ходить за трудоднями не куда-нибудь, а в алтарь. К нему, к Семе Филину. Вечером же, когда вернулся Сема на пустой телеге, бабы кутырские напоили его самогонкой вусмерть, вытащили ключи и вошли ночью в храм. Собрали иконы, облачения, служебные книги и утварь, увязали в большие бабьи платки. И до утра мужья их разносили по избам церковное, хоронили, кто где мог — до лучших времен. Ключи же потом запихнули Филину обратно в карман и похмелиться рядом поставили.

Среди прочего принесла баба Тоня домой икону Архангела Михаила — большую, почти в мамин тогдашний рост. На спрятанной иконе Архистратиг был суровым и в княжеских одеждах.

Одной рукой держал он Евангелие, а другой крест и копье, которым повергал сатану с маленькими и черными, как у летучей мыши, крылышками. Под копытами Михайлова коня рушились земные царства, а между руками Архангела сверкала радуга. Мама рассказывала, что часто играла с этой иконой. Пойдет в сени, поднимется по лестнице к потолку, отожмет ладошками лючок, юркнет под него, и к Архангелу. Высвободит из соломы, развернет холстину, покрестится, поцелуется с ним, а потом приставит икону к темной стропилине и рядом садится. И все рассказывает Михаилу, какие родители у нее, какие подружки, кто кого обидел и кто чему порадовался.

И сплетала Нюрочка Архангелу веночки из желтых одуванчиков.

— Я разговариваю с ним, — вспоминала она, старыми сморщенными руками оглаживая темный подол юбки, — разговариваю, а сама веночки плету. И потом прикладываю. Михаилу прямо по нимбу, а коню его на челку прилаживаю. Веночки-то не держатся, вниз сбегают. Ой, и смех и грех! Ну, я тогда перестала плести. Охапку цветов нарву, залезу на потолок, вытащу Архангела из схрона, положу на балки и цветочками украшаю. И Михаила, и коня его. А если осень, то ленточки цветные у мамы воровала. И тогда ленточками украшаю, а сама все говорю, говорю с ним. И знаешь, сынок, лицо у него каждый раз новое было! Может, свет так в слу́хи падал или еще чего, а только будто слышит он и все понимает. И то радостный он, а то суровый, вроде как недовольный мною. Уже смеркается, уже лика на иконе не видно, а я все сижу и сижу с ним. А зимой не лазила, холодно было на потолке. Ну, я, как заскучаю по нем, сяду на лавку в том углу, где он соломой прикрыт, подыму глаза к потолку и опять говорю с ним. Вишь, чего удумывала…

А в тот декабрьский день дед с бабушкой ушли по взрослым своим делам, а старший брат с мальчишками по деревне гонял. Осталась мама одна — смотреть за полугодовалой сестрой Шурочкой. И холодно было в избе. Мороз ли, метель, а топили раз в день, перед сном. К обеду изба выстывала, и ходили уже в телогрейках и валенках. Вот понимаете, стоят Кутырки по краю

леса, а избы топить нечем. Была Господня земля — было тепло в избах. А как пришли благодетели с наганами, так пришлось яблоневые сады на дрова рубить. И груши. И шелковицу на корню изводить. А кого ловили с распущенной на хлысты социалистической березой в санях, того, как и всякую контру, отправляли другой лес валить — сибирский.

И мерзла мама. На полатях оставалось кое-какое тепло, но от Шурочки как отойдешь? То попить ей, то пеленать, то плач унять. И все качать да качать. Куталась мама в бабушкины платки, и ка́чку поближе к опечью двигала, сама спиной к остывающему шестку жалась, а все зябко. Мама тогда и придумала — забраться с Шурочкой на полати, укрыться одеялом, там и нянчиться. А пять лет девчонке, руки слабехонькие. Одной рукой сестру к груди прижимает, другой жердочки перебирает. И уже почти добрались они до самого верху, уже занесла мама коленку на полати, а Шурочка взяла да и скользнула из маминых рук. И об пол, и больше не плачет. Мама посмотрела на нее сверху и поняла, что больше не будет плакать сестренка ее. Никогда. И так испугалась, что натворила она, вспомнила о родителях, спустилась вниз. Сестру в качку переложила, хохлом прикрыла, чтоб не заметили, а двери в дом изнутри на засов заперла. И опять взлетела на полати, забилась в угол, глаза закрыла, чтоб качки не видеть.

— И Шурочку-то мне жалко. И себя мне еще жальче, — вспоминала мама, и вспоминая в тысячный раз, принималась плакать. — Мать придет да убьет, что сестру не уберегла. И отец придет, и тоже убьет. А я же не хотела. Я же хотела, чтоб тепло нам с Шурочкой было. И так горько выла я, так плакала. Все, думаю, конец пришел. Накрылась с головой, глаза зажмурила и трясусь вся. Жду его, конца-то. И вдруг ветер холодный-холодный, будто окна настежь. И вся я, как льдом, покрылась — язык обмер, правая рука отнимается у меня. «Господи, — подумала, — помру же сейчас!». И только подумала, одеяло с лица потянула, а он уж у полатей стоит. Архангел Михаил мой. И знаешь, сынок, я его сразу узнала, хотя он совсем не как на иконе был. Ни коня, ни радуги я не видела. А был он красивый очень. Волосы у него русые, повязка их держит. А поверху нимб, и не золотой, а желтоватый, с белесым налетом. Вот как веночки мои. Рубаха на нем простая совсем,

длинная, зеленая. И плащ киноварный, и шар какой-то в руке. Прозрачный-прозрачный, яркий-яркий, аж до щекотки в глазах. А он наклонился ко мне и говорит: «Не бойся ничего, Анна. Молись Богу и мне». И от печи отошел уже, а потом повернулся и опять говорит: «Анна, молись Богу и мне». И вверх, и сквозь потолок ушел. Да меня и Анной-то никто не звал. Все Нюрочкой кликали. А он говорит, Анна, молись и не бойся. И как-то сразу поверила я ему и плакать перестала. Отлежалась, оправилась немного, слезла с полатей, засов отворила и к Шурочке пошла. Села рядом, стала молиться, как умела. Стала родителей ждать.

И никто не ругал Нюрочку в тот день, никто не убивал ее.

Вернувшимся родителям мама с порога еще крикнула правду, и только про Архангела Михаила утаила в себе. Бабушка подбежала к люльке, откинула хохол и… И опять прикрыла. Бог дал — Бог и взял. Встала баба Тоня на колени в честно́м углу и плача принялась молиться за детей своих, и живых и мертвых. А дед Степан пошел в сарай и, перемежая «господипомилуй» с растерянным матерком, стал ладить из необрезной доски маленькую домовину. Свезли Шурочку на кутырское кладбище и засыпали сухой перемерзшей землей. Потом еще четверых «согрешили». Двое выжили, двоих рядом с Шурочкой пристроили.

И до последних дней своих мама помнила о несостоявшейся тетке моей. На девятом десятке, когда почти каждый день мучили маму тяжелые головные боли и ноги уже отказывались повиноваться, я привозил ее в храм к литургии. Во время исповеди приходилось мне стоять рядом, поддерживая ее под локти. И каждый раз она начинала исповедь одними и теми же словами:

— Батюшка, — говорила, — грешна я, человека убила.

— Да помилуй же, Анна, — сердился батюшка. — Я тебе грех этот еще двадцать лет назад отпускал. И десять лет назад, и в прошлом месяце, и в позапрошлом. Что ж ты, Анна никак не поймешь? Единожды исповеданный грех больше не поминают!

— Да, я понимаю, батюшка, понимаю. А что толку? — не по чину строго возражала мама священнику. — Вы-то отпустили, а я не отпустила. И он меня не отпустил.

И на больничной койке, за несколько часов до смерти, мама тоже бредила Шурочкой.

А второй раз пришел Архангел Михаил к маме в мичуринскую тюрьму. Был он точно таким, как и двенадцать лет до того в Кутырках — был русый, молодой и красивый. И все тот же шар, яркий до щекотки в глазах, был у него в руках. Только на этот раз ничего не говорил Архангел маме. Он просто стоял над нею, высоко-высоко, полоща киноварным плащом по лазурному небу. А она сидела на траве в каком-то светлом бору, среди редких, залитых летним солнцем сосен, и молча смотрела на Архангела. А он молча смотрел на нее. И безо всяких слов поняла тогда мама, что скоро отпустят ее из тюрьмы. И все у нее будет хорошо — все как у людей. И семья у нее будет дружная, и достаток в семье. И родит она заступника себе, и назовет его муж Михаилом.

— И вот подумай, сынок, — говорила мама. — Я ведь слова архангельские тогда не ушами слышала, а будто читала их. А где читать-то? И книги там не было. Ни на небе, ни на траве никаких слов не было. Но я уже не сомневалась в нем, в Михаиле моем. И упала на колени молиться, чтоб сбылось прочитанное, а коленкам больно. Я смотрю, а под ними никакой травы, только пол бетонный. И окно с решеткой, и небо серое за нею. И никакого Архангела в небе нет.

На тот сосновый бор, над которым видела мама Архангела Михаила, она набрела спустя двадцать лет, однажды летом решив спрямить дорогу домой с оболдинского химкомбината, где работала в первые годы после моего рождения. Этот светлый, залитый вечерним солнцем лес, который узнала она до последнего деревца, оказалось, стоял на краю Лосиного острова.

Мама очень любила это место, и мы по выходным приходили туда всей семьей — той самой, маленькой и дружной, что однажды была обещана маме. И я в детстве тоже любил это место, хотя еще ничего не знал ни о мичуринской тюрьме, ни об Архангеле Михаиле. Просто здесь нам всегда было уютно и вкусно. Отец разводил костер, а когда он прогорал, закапывал в горячие угли завернутых в лопухи больших карасей. И пока они подходили, откупоривал пузатую бутылку «Гымзы» в красивой оплетке и шипучую «буратину» для меня. А мама, расстелив на траве клеенку, наскоро накрывала — расставляла тарелки со стаканчиками и раскладывала съестное. А потом, отойдя чуть поодаль,

садилась на сухой валежник и подолгу смотрела в небо. Мы с отцом в такие минуты всегда оставляли ее одну, уходили искать грибы в березняке или срезали в орешниках стройную «рюмочку» для рогатки.

2

В последний раз пришел Архангел Михаил к маме в ночь перед гибелью отца, и эта их встреча поразила меня больше, чем вместе взятые те. Потому что те еще можно было понять, можно было списать на детскую восприимчивость ко всему таинственному, можно было объяснить чрезвычайными обстоятельствами — невольно убитой сестренкой или сырой бетонной конурой, в которую была брошена девочка-подросток. Но в этот-то раз маме было уже за шестьдесят. И я уже был взрослым, уже отслужившим в армии. И все происходило на моих глазах.

А было так.

Отец всю жизнь работал по дереву. Был плотником, а потом столяром, краснодеревщиком. И мы никогда не покупали мебель, потому что он все сам делал — и кровати, и шкаф, и стол, и стулья. И меня кое-чему обучил. В последние свои годы работал отец по церквям, без всякой трудовой книжки. Все равно, полы ли стелить, обрешетку ли на купола ставить или из токарного что, многие подмосковные батюшки звали именно отца. Знали, сделает как надо. Как себе. Придя из армии, я хотел работать в его бригаде, но мама стала ругаться и отговаривать. «Почему ты против?» — спросил я ее тогда. «Тебе непрерывный стаж нужен, а в церкви стаж не идет. И учиться тебе надо, а не доски пилить. Сейчас без диплома никуда».

И еще она ругалась, что я на кухне курю. А однажды не выдержала, пошла на принцип: «Отец всю жизнь дымил, как паровоз, — возмутилась. — Теперь отец к другой ушел, сын дымить взялся. И что за дурная привычка у вас, в доме курить. Иди, Миша, на балкон и кури сколько влезет. Или живи один, а я в Кутырки к Глаше уеду…». А балкон у нас был на самом верхнем, четвертом

этаже. То снег, то дождь, то холод — противно было курить там. Но я послушал маму и стал обустраиваться на балконе. Купил досок, брусок-пятидесятку на стойки, притащил фанеры, гофры, заказал сварщикам уголки для навеса и попросил отца сделать балконные рамы. Жил он уже с другой семьей, но мы встречались, старались помогать друг другу и по выходным сидели иногда за гаражами, где неторопливо, уговаривая бутылочку-другую, разговаривали о своем, о мужицком. Рамы отец сделал быстро, и я устроил себе шикарные апартаменты — под крышей, с окнами, с продавленным и оттого особенно уютным стареньким креслом. Даже провел на балкон электричество, подключил двести второй «Маяк» и самодельную дээспэшную колонку. Дымить на балконе стало «в кайф».

Рано утром седьмого августа восемьдесят пятого года я собирался на работу. Я, как всегда, опаздывал, бегал по квартире, на ходу проглатывал большие куски яичницы и одновременно собирал сумку, одевался, звонил по телефону. А мама, неподвижная и растерянная, сидела в кухне, следила за мной какими-то затравленными, бессонными глазами и думала о чем-то внутрь себя. А когда я уже надевал ботинки, она вдруг проговорила из кухни, тем грозным и вместе горьким голосом, которого я так боялся в детстве:

— Миша, поди сюда. Сядь на минуту.

— Мам, ты чего? Я опаздываю уже!

— Сынок, поди, сядь на минуту, — повторила она.

Ну, подошел, сел.

— Что случилось, мам, говори скорее?

А у нее вдруг задрожали губы и она сказала:

— Сынок, отец твой помрет сегодня. Ты позвони ему, предупреди как-то!

— Господи, ну, что за бред! С чего ты взяла, мама?

— Не бред, я во сне видела. Разобьется сегодня Витя наш. Насмерть, — и смахнула слезную хрусталинку сгорбленной костяшкой указательного пальца.

— Да успокойся ты, мам! Мало ли кому что снится, — обнял я ее. — С чего ты взяла, что разобьется он?

— Да говорю же, бестолковый, во сне видела.

— Ну, так рассказывай скорей, что ты там видела, — начинал я терять терпение.

И она стала рассказывать, будто была дома одна и услышала, как кто-то открывает ключами входную дверь. И удивилась, потому что ждала меня к вечеру, а был полдень. А когда дверь открылась, увидела, что это бывший муж, Витя ее вошел.

— Мам, это полная ерунда! Отец шесть лет сюда не заходит. И замок два раза меняли. Ну, откуда ключи у него? Откуда?

А мама посмотрела на меня с той жгучей жалостью, с какой родители смотрят на больных, невменяемых, ничего не смыслящих детей.

…это бывший муж, Витя ее вошел. И не поздоровавшись, как будто и не замечая ее, медленно пошел по квартире. Он заходил во все комнаты, придирчиво осматривал сделанную собственными руками мебель и сокрушенно качал головой, обнаруживая на ней свежие царапины и мелкие сколы отполированного шпона. А потом стал открывать шкафы, тумбочки и всякие ящики, как будто искал что-то или хотел убедиться, что все в сохранности, все на месте. И мама переходила за ним из комнаты в комнату, а когда он вдруг останавливался, она, натолкнувшись на него, проходила сквозь отца, как сквозь тень. И все хотела потрогать, погладить его, но руки проваливались в пустоту. А потом отец прошел в кухню, закурил вечный свой «Беломор», сел на круглый табурет и, жадно затягиваясь, долгим тяжелым взглядом уставился в кухонный пол.

— Я позвала его. Витя, говорю, ты чего? Ты вернулся, да? А он говорит, да. Вернулся. А Мишка где, спрашивает? Я говорю, на работе. Он тогда папироску под краном затушил, бросил в ведро и пошел к балкону. Осмотрел эти хоромы твои с магнитофоном, прислонился к балконной двери и заплакал. Руки-то, говорит, у сына из задницы растут. Не руки, а крю́ки, говорит. Разве так рамы ставят? Так они к весне сгниют все. И что это он тридцатку с бруском сплачивает, а гвоздь на сотку вбивает — лопнет сплотка его. Рухнет, говорит, эта крыша вам на голову, и улетите вместе с ней! Здесь, говорит, шип с пазом нужен, здесь «ласточкин хвост» надо на клей сажать. А сам плачет и плачет. Ничему, говорит,

не научил я сына, ничего не дал ему… А все из-за вас! Вы плодите маменькиных сынков, вы их юбками всю жизнь укрываете. Вы ревнуете сыновей к мужьям, вы отрываете их друг от друга. Почему, говорит, почему не забрал я Мишку, когда уходил? И так он это говорил, так надсадно и больно, что и мне больно стало, и я тоже заплакала. И вдруг смотрю, а в руках у него гвоздодер…

— Мам, зачем ты мне все это рассказываешь? — закипело внутри. — Мне на работу надо. Вечером договорим.

— Вечером уже не договорим, — обреченно сказала она. — Позвони отцу, предупреди его.

— Мам, ты чего? Что я ему скажу? Про балкон? Чтобы он шипы на клей посадил? Не придет отец. Ты же знаешь, что не придет!

— Сынок, я лягу. Дай мне чаю горячего. Одеяло дай.

…а в руках у него гвоздодер. Он выломал раму и швырнул ее с четвертого этажа. Вниз, прямо на Валькины грядки. А потом вторую раму. И магнитофон туда же. И кресло старое. И стал крушить все подряд. А мама испугалась и убежала на кухню. А на балконе ломались доски и звенели разбитые стекла, и вся квартира ходила ходуном. И закричал отец, и стало тихо-тихо. Мама бросилась на балкон, а отца нет. Она вниз посмотрела, а он лежит на обрушившемся балконном навесе, весь усыпанный деревянной щепой и битым стеклом. Сорвался. Весь перебитый, перекореженный, весь в крови, а рядом с ним Архангел Михаил. Все тот же, что и пятьдесят, и сорок лет назад — в ярком плаще и длинной зеленой рубахе. Русый, молодой и красивый. Только ни меча, ни шара не было у него в руках. Свободны были руки Архангела Михаила, к отцу были простерты.

— И он вроде хотел забрать Витю с собой, — все сильнее и сильнее плакала мама. — И под локти его подымал, и за ноги, и под коленками. И под спиною руки продевал. И никак не получалось у него. Не мог он Витю от земли оторвать. И крылья у него за спиной были белые, вместе сложенные. Такие безвольные были крылья, что я заплакала и закричала ему, подождите, вам же тяжело. Я сейчас помогу, я спущусь вниз. Мы вместе, вместе подымем. А он говорит, скорее, Анна. Помоги мне. Я не справлюсь один, скорее беги… По лестнице я сбежала, дом обогнула, подбежала под балкон, а там ни отца, ни Архангела Михаила. Только Валька

на корточках сидит, петрушку свою срезает. Я хотела спросить, не видала ли она Витю. Валя, говорю…

— Плохо дело, мам, — перебил я, понимая, что едва-едва успеваю на последнюю перед перерывом электричку. — Это неспроста, конечно. Я сейчас позвоню отцу, только ты успокойся. — И поцеловал родные, мокрые от слез глаза. Никогда раньше мама не была такой впечатлительной. И, наверное, именно это и называется старостью.

Кое-как успокоив и уложив мать, я подошел к телефону и на память набрал номер.

— Алло, — ответил вечно веселый голос женщины, которой я никогда не видел.

— Здравствуйте, будьте добры Виктора.

— Михаил, здравствуйте, — она узнала меня, хотя тоже никогда не видела. — Он уехал на работу, будет в десять вечера. Что-нибудь передать?

— Нет, спасибо. До свидания.

А что, собственно, я мог передать? Рассказывать незнакомой женщине всякую ерунду про ангелов и архангелов? Нет уж, увольте!

— Сынок, что Витя сказал?

— Мам, его уже нет дома. Я еще с работы позвоню.

И ушел.

Было тревожно и гадко. В электричке я, бессознательно пытаясь отменить мамин сон, старался не думать об отце, а тупо смотрел на бегущие в грязном окне тополя и размышлял о странных отношениях мамы с Архангелом Михаилом. Как она, никогда не читавшая Дионисия Ареопагита или, на худой конец, Сведенборга, как она это представляет? Архангел Михаил победил сатану. Ему Бог силу дал, беспредельную! А она, стареющая уже женщина, вечно жалующаяся на недомогание и усталость. И с чего бы это Архангелу просить у нее помощи, и чем же она может помочь? Ах, мама! Ах, мама моя дорогая, какой поразительный бардак царит в твоей голове… С работы я снова набрал отцов номер, и веселый женский голос повторил, что созвониться можно в десять вечера. Не раньше. А если что передать, так давно бы уже и сказали.

В десять вечера созвонились с нами. Из городского морга. И вызвали на опознание. «Без родственников тут черт ногу сломит», — сказал равнодушный усталый голос, и трубку повесили.

Ни с какой высоты отец не падал, и не было никакого балкона. Четыреста двенадцатый «Москвич», на котором он возвращался с работы в одном из Щелковских храмов, заглох на неохраняемом железнодорожном переезде в Загорянке. В машине были еще два человека, работавших с отцом. Товарный состав из семидесяти нагруженных под завязку вагонов половину тормозного пути пинал их, как футбольный мячик. А потом вышвырнул на насыпь, и трое сидевших в машине стали одним телом. Когда я вошел в холодильник, собранные по частям они лежали на железных столах, но лиц у них не было. Это было страшно. Я растерялся и хотел выбежать, но увидел разорванное бедро одного из погибших, а на нем татуировку — средневекового рыцаря в латах, с длинным копьем и большим прямоугольным щитом. Татуировка была старая и блеклая, потому что отец делал ее еще в армии — обычной черной тушью и тонкой иглой, примотанной к спичке. В детстве, когда перед самым сном он раздевшись лежал на диване и смотрел телевизор, я любил разрисовывать этого рыцаря трехцветной шариковой авторучкой. Отец молчаливо терпел, а когда меня уводили спать, шел в ванную и отмывал бедро.

— Это мой отец, — прошептал я, показав на еле различимую татуировку, давясь слезами и рвотой, подписал какую-то бумагу и выбежал на улицу.

Отпевали всех троих в закрытых гробах, в той самой церкви, из которой тремя днями ранее выехали они навстречу товарняку. И две женщины, стоя по разные стороны от отца и словно не замечая друг друга, оплакивали его навзрыд. Хоронили погибших на Ивантеевском кладбище, а поминали отца там, где он прожил последние шесть лет. Мы с мамой извинились и, несмотря на слезы и уговоры отцовой женщины, уехали из Ивантеевки домой. А из дома ушли в сосновый бор, на мамину полянку. Подавленные, мы совсем не разговаривали. Она, как всегда наскоро, накрыла поминальный стол и, отойдя чуть поодаль, села на поваленное дерево. И было все, как когда-то в детстве. Только мама уже не смотрела в небо, а смотрела себе под ноги и плакала.

И «Гымзы» больше не продавали, и печь рыбу в лопухах я не умел. И отца не было с нами.

И я спрашивал себя, почему именно маме была открыта нависшая над ним гибель? Он же компанейский, куражливый человек, и у него много друзей, в том числе, по-настоящему близких. У него другая женщина, которая в эти дни была, конечно, роднее и ближе ему. И был у него свой духовник, и жива еще мать отца, благочестивая и набожная баба Варя. И никому из них не открылось. А пришел отец к первой своей жене и выплакался подле нее в последний свой раз.

И еще я спрашивал себя, мог ли я предотвратить эту смерть? Или в то утро, когда мама позвала меня на кухню, когда движок «Москвича» еще безукоризненно работал, а убийца только встал под погрузку, жадно принимая в себя все новые и новые ковши пыльной щебенки и угля, неужели все уже было предрешено? И я ворошил палкой остывающие угли в костре, и чувство вины, горькой и гадкой, как застревающая в гортани «Старка», пролилось в меня и придавило к земле. Ибо, еще стыдясь признаться себе в этом, я в ту минуту отчетливо осознал, что нет никакого предопределения судьбы человеческой, а есть только предвидение Божие.

И есть простые вещи, которые по силам каждому и которые зовутся любовь.

Я мог, подавив в себе брезгливость и гордость, попросить у незнакомой тетки адрес храма, в котором работал отец в тот день. Я мог приехать к нему и встать намертво пред лестницей на звонницу, чтобы не вздумал он лезть на высоту в тот день. Я мог проколоть шины или ахнуть монтировкой по коробке передач, чтобы не выехал «Москвич» за церковную ограду в тот день. И чтобы не оторвало рук отцу, я мог поломать токарный станок, на котором точил он в тот день резные ножки для нового свечного ящика. Я мог, наконец, сделать ту простую, ту единственную вещь, о которой так просила мама — просто найти его в то утро и тихо сказать: «Отец, побереги себя! Потому что мама во сне видела…».

Но гордость. Гордость и юношеский скепсис, и страх выглядеть смешным — о, как безжалостно оглушают они человека! Каждую минуту говорят с ним небеса, а он имеет уши и не слышит.

И оттого вечность кажется ему нежилой, а если и жилой, то совершенно равнодушной к нему.

3

После гибели отца мама почти каждый день вспоминала Кутырки. И хорошо так, светло вспоминала. Ей, так и не прижившейся в пяти километрах от кольцевой, вдруг стало тошно на подмосковном белом свете, и она перестала скрывать это. Когда, отстояв сороковины, мы вернулись из храма, мама села писать письмо к младшей сестре, всю жизнь безвылазно прожившей в Кутырках. Получив ответ, она засобиралась на малую родину. Мне эта идея не понравилась, и мы поскандалили. Я понимал, что только надежда на возможное возвращение отца — ну, как же, сынок, он же не расписался с нею! — только эта надежда удерживала маму от давно задуманного «побега». И было очевидно, что если уедет она в Кутырки, то назад уже не вернется. А значит, по любви и по жалости к ней я тоже стану селянином. Зная необоримую мамину властность, я и не пытался отговаривать ее от поездки. Я всего лишь хотел отправиться вместе с ней, чтобы вернуться обоим. Когда уляжется.

— Сынок, да я мигом, — упиралась она. — Недельку-другую, и вернусь.

— Мам, ты чего? Девять часов на поезде, два — на автобусе. И от Инжавино тридцать километров. Пешком, что ли пойдешь? На телеге? Тебе за шестьдесят уже, мам, не двадцать. Я с тобой поеду.

— Да я еще ничего, я и одна доеду, — стояла на своем мама. — А как билет возьмешь, мы телеграмму дадим. Глаша в Инжавино встретит.

Спорить было бесполезно — я взял один билет и послал тетке телеграмму. Мама уехала, а я для себя решил, что жду ровно месяц. А потом еду в Кутырки и всеми правдами и неправдами привожу маму обратно в Москву. Потому что мне учиться надо, и работать, и девушек любить. А для этого места лучше, чем Москва, еще никто не придумал.

Первая неделя после отъезда мамы была на редкость плодотворной и шумной. Еще бы! Я же был компанейский и куражливый, как отец, а тут целая «трешка» свободна. Еще через неделю гульба надоела мне до тошноты, а любовь и жалость к матери проснулись с новой силой. Я договорился «за свой счет», поехал на вокзал и купил билет на поезд. А за день до моего отъезда мама вдруг позвонила и сказала, что она на переговорном пункте в Тамбове, что поезд отправится через два часа и через одиннадцать будет на Павелецком. И надо ее встретить, потому что у нее «тяжелое», и одна она до дома не довезет.

Я обрадовался маминому возвращению и что не надо никуда ехать, кое-как навел порядок в квартире, вынес на помойку гору пустой посуды, замел и замыл следы вольной жизни и ранним утром помчался на Павелецкий. Там я сдал в кассу ненужный уже билет и, ожидая прихода поезда, уселся в привокзальной пельменной, где, потягивая из-под полы горькое рижское пиво, принялся дочитывать «Трех товарищей» в розово-сером минском переплете восьмидесятого года.

— Я думал, ты не вернешься, мам, — признался я, когда мы добрались до дома и сели завтракать.

— Как не вернуться, сынок? Как же ты будешь жить без меня?

Какой наив! Об этом я и не подумал.

— А чего ты так стремительно сорвалась, мам? Смысл-то в чем?

— Я хотела места родные посмотреть, сестру увидеть, к маме на погост сходить.

— Ну, посмотрела? Как там?

— Да живут Кутырки. Потихоньку.

— А Санек Рудаков как? Женился, нет? А Надя, сестра его? Я помню ее, — нахлынуло на меня каникулярное отрочество. — Такая голубоглазая была, красивая, как Мальвина игрушечная. Мы с ней, как темнело, в саманные сараи ходили с ведрами — коров поить.

— Это сколько лет тебе было, поилец, что ты по-темному в сараи ходил? — возмутилась мама.

— Ну, седьмой класс или восьмой. Пятнадцать, наверное.

— А-а-а, вот и понятно… Надя замуж вышла за Мишку Белова. Они в Воронеже теперь, в футбол он там играет. Глаша

сказывала, что Надя приходила к ней перед свадьбой, расспрашивала про тебя и плакала. Вот понятно! А Сашка Рудаков в Тамбов уехал. Учиться. Маня все облепиховую варит — деревня на нее не нарадуется. Юрка Четвертак, крестник мой, участковым в Кутырках теперь. Машину ему дали, с друзьями на рыбалку катается…

Кутырки были еще жилыми, чистыми и стремительно стареющими. Молодежь уезжала в поисках лучшей доли, а старики удерживались немощами и любовью к родным пепелищам. Скотину почти никто не держал, не выгодно было. Питалась деревня одними огородами. Церковь как разбита была, так и стояла. А деревенский погост был чист и ухожен — все друг друга знали и помнили, все почти состояли в родстве. Только могила Семы Филина, залетного комиссара, заросла бурьяном по грудь. И не было на той могиле ни таблички с именем, ни креста, а только остроконечная пирамидка, скроенная из листового железа и увенчанная проржавевшей насквозь пятиконечной звездой. Походила эта пирамидка на крошечный космический корабль, так и не оторвавшийся от земли, так и гниющий в кутырском суглинке. По ржавой звезде и узнавали, что Филин здесь, и обходили бурьян стороной.

А «тяжелое» оказалось иконой Архангела Михаила — той самой, которой плела пятилетняя Нюрочка веночки из желтых одуванчиков. Несколько раз за полвека переезжал Архангел из избы в избу, кочевал из схрона в схрон, а в последнее время стоял уже в честно́м углу, в доме у тети Глаши. На правах старшей сестры мама увезла икону с собой, переложив по живописному слою старыми газетами, завернув в грубую деревенскую простыню и перетянув частой клеткой из бельевой веревки. Как и представлял я по маминым рассказам, икона оказалась большой и тяжелой, и было даже не вполне понятно, как мама решилась везти ее до Москвы.

На толстых саморезах, в углу маминой спальни, закрепил я на стене икону Архангела Михаила. И она обра́зила ее чистым белым полотенцем, расшитым по краю красным и синим, а потом украсила бумажными и пластиковыми цветочками, с какими обыкновенно приходят на погост в Радоницу. Именно в ней,

в этой иконе и заключался смысл маминой поездки в Кутырки. Но это я понял уже после смерти ее, когда разбирал открытки и письма, бережно перевязанные цветной ленточкой и хранимые ею в ящике старой швейной машинки. В числе прочего нашел я тогда и письмо в Кутырки, написанное в день отцовых сороковин. «Глаша, здравствуй! — писала мама сестре. — Где теперь Архангел Михаил мой, сберегли ли?». И дальше об отце и о сонном своем видении.

В тот злосчастный год стали нарастать у мамы пяточные шпоры, и ей больно было ступать на ноги. Стараясь ободрить ее, я все подшучивал: «Ты, Степановна, теперь со шпорами, как Буденный. Тебе армией командовать можно!». А вот и сам второй год на шпорах — родовое, и не до шуток. Вечерами делал я маме солевые ванночки. Она сидела на стуле, опустив ноги в теплую воду, а я рядом, на низенькой скамеечке, время от времени подливая в тазик погорячее. И все удивлялся я, как стремительно темнеют ее худые коленки. Сначала они были светло-серыми, потом стали темно-красными, потом уже синими. А через полгода оба сустава покрылись большими фиолетовыми кляксами.

— Мам, что у тебя с коленками? Может, тебя к врачу отвести?

— Кровь старая, — ответила она, — не бежит больше. А с врачей, какой с них толк? — и перевела разговор на другую тему.

В то время я уже писал по ночам всякую хрень в большую красивую тетрадь, на виниловой обложке которой было крупно выведено напыщенное слово «эссеистика». И почасту, пытаясь возбудить засыпающее воображение, ходил я курить на лестничную площадку. И все видел полоску света, пробивавшуюся из маминой комнаты в узкую дверную щель. Она ночами часто не спала. И как-то раз не выдержал я, тихонько приоткрыл дверь и увидел, что мама стоит на коленях пред Архангелом Михаилом и молится шепотом, часто повторяя при этом имя отца. И так глубоко была она в молитве своей, что даже не услышала скрипнувшей двери. Вот в ту ночь я и понял, отчего так страшно фиолетовы ее худые коленки.

Позднее понял я и то, почему именно к ней, а не к друзьям, не к духовнику и не к новой жене пришел отец в ночь перед

гибелью. Оттого это, что браки и вправду заключаются на небесах. И пред лицем Божиим есть у человека только одна жена — та, первая, которую сам он избрал, к которой прилепился однажды на ложе своем и с которою, венчанный ли невенчанный, навсегда останется одной плотью. И сколько бы красивых или веселых, или умных женщин не встретилось ему потом, а это уже неотменимо, как неотменимо всякое слово Божие. Но, Господи, если и вправду установил ты так, что будут «оба в плоть едину», то по смерти одного, не значит ли, что оба умерли? Или покуда жив и любит один, то и другой жив?

Пока я, не сто́ящий и щербатого желтого ногтя на мамином безымянном пальце, втихую пенял ей на незнание Дионисия Ареопагита, она своим простодушным и наивным знанием о человеке и Боге поняла в последнюю встречу с Архангелом Михаилом главное. То, что плоть человеческая однажды кончается и сгнивает, а жизнь его, судьба его длится до последнего из живущих на земле и любящих его. И когда Архангел Михаил просил ее: «Скорее, Анна, помоги мне, я не справлюсь, скорее беги!» — он просил маму о молитве за отца. Так она поняла. Ибо никакой ангел и даже Архангел не могут оторвать человека от земли, не могут поднять его к небесам, если не оставил по себе человек ни одной любящей и деятельной в своей любви души. Без всякого Сведенборга поняла тогда мама, что ушедший уже ничего не изменит в своей судьбе, а любовь к нему — может. Все изменить и все поправить может любовь! Того ради долгими ночами простаивала мать на коленях пред иконой Архангела Михаила — вновь, как и в детстве, поверив ему и стараясь не отступить от предписанного. И кажется, ей даже легче и счастливее было с отцом после его смерти, потому что теперь она точно знала, что он ее — и только с ней.

По прошествии нескольких лет я жил уже в Москве. Днем лоботрясничал в университете, а по ночам пропадал в общаге филфака, где охотно учился и учил разных красивых и умных девушек. Однажды по телефону мама напомнила мне, что скоро Михайлов день и она ждет меня в гости, что накроет вкусный стол и кагорчика припасла. Могла бы и не напоминать, потому что

двадцать первое ноября мы почти всегда проводили вместе. С самого детства казалось мне, что мой день рождения приходится именно на Михайлов день, а вовсе не на третье сентября, как записано в паспорте. Потому что в день именин мама всегда красиво одевалась и шла в церковь, а вернувшись готовила много вкусного. И подарков на именины я почему-то всегда получал больше, чем в день рождения.

Я пообещал приехать и накануне приехал, а утром отвел Степановну к Косьме и Дамьяну, где она исповедалась и причастилась. После службы мы сидели вдвоем, неторопливо обедали и скучно беседовали обо всем подряд. И вдруг она спросила.

— Сынок, — спросила, — а ты будешь молиться обо мне? Потом.

— Конечно, — ответил я, и мне самому отчаянно захотелось, чтобы так оно и было.

— Ты тогда Архангелу Михаилу молись, — сказала мама. — И главное, в Михайлов день. Потому что в этот день молитва об усопших силу большую имеет — даже безнадежных она из ада выводит.

А я подумал про себя: да какой же тебе ад, мамочка? Ты и твое поколение, вступавшее в жизнь в революцию, выдуманную одними подлецами, а уходившее из жизни под рыночный треп подлецов других, вы, вынесшие на своих плечах весь страшный двадцатый век, и в конце жизни этим же веком ограбленные и оболганные, вы, такую жизнь перетерпевшие, какой же вам ад еще?

Так подумал я, а вслух сказал:

— Мам, а с чего ты взяла, что именно в Михайлов день? Есть же родительские субботы, дни памяти и все такое.

— А люди сказали! — ответила мама, и пугавшая меня в последние годы стремительная чуди́нка ярко блеснула в ее слепнущих уже глазах. — Двадцать первого числа Архангел Михаил крыло в ад опускает, — пояснила она. — Три раза́. И те, за кого родные молятся, те самые первые за крыло хватаются и на берег выходят.

— Как-то странно, — зацепился я с еще не вполне осознаваемым раздражением. — Почему Архангелу Михаилу? Почему

не Христу или Богородице? Почему не Анне Кашинской твоей? Не понимаю!

— Да как же не понимаешь, сынок? И Христу, и Богородице в первую голову молятся. Обязательно! Но за усопших Архангелу Михаилу. Потому что это брань, а Михаил воин! Он сатану низверг и теперь навсегда власть над ним имеет. А в аду ведь все до одного тоже творенья Божии — только сатана угнездился в них. А мы тут помолимся, а Архангел Михаил там услышит и идет гнездо разорять. Выгоняет, значит, дьявола из человека. Человек очищается и наверх идет, а дьявол в аду остается. И так с каждым, за кого молятся, — воодушевленно разворачивала мама какую-то собственную, совершенно немыслимую ангелологию. — Архангел Михаил, конечно, не сам в преисподней распоряжается, а с Божьего изволения. Он сначала идет к небесной завесе, за которой Бог, падает на колени пред Ним и молится за грешников. До семи потов молится, пока Бог не дозволяет ему идти к преисподней. Нашей ради любви дозволяет, понимаешь?

— Мам, ты чего? Ты думаешь, что говоришь-то? Ангелы не могут потеть, они бестелесные, и коленей у них нет! — Я раздражался все больше, потому что больно мне было обсуждать с любимым человеком его будущую участь. Тем более что оба мы не имели о ней ни малейшего понятия. Но Степановна крепко стояла на своем.

— Я не знаю, есть у них колени или нет, но люди сказали, что на коленях и до семи потов, — упорствовала она. — А как получит Архангел Михаил добро от Господа, то собирается к нему все небесное воинство его — и ангелы, и Архангелы, и Серафимы всякие. И они уже идут к преисподней. Вот, как мы, крестным ходом ходим, так и они идут. Только мы кто в чем, а они все красивые и в белых одеждах.

А преисподняя, она, как озеро огненное. И так мучаются люди там, что и подумать страшно. И они встают, ангелы-то с Архангелами, в кружок встают, вроде как певчие на хорах, и начинают молиться Богу опять. А Михаил идет от них к озеру, опускает белое крыло в бездну, и та гаснет ненадолго. И грешники, за которых молятся на земле, они и успевают ухватиться за крыло. Михаил их подымает и на берег ставит. А потом еще два раза́ крыло

опускает и еще больше душ выводит. А ангелы, значит, души эти принимают от Михаила и поют, и радуются за них, как за себя. Потому что ангелам ведь плохо, когда люди страдают. И они, значит, принимают души эти от Архангела Михаила и омывают их. И маслом каким-то ожоги им заживляют. А потом помазывают миром и пред лицем Божиим ставят. Бог уже тогда сам определяет — кого в какие обители. И все силы небесные опять встают как бы крестным ходом и отходят от преисподней. А она снова огнем заливается. И те, за кого не молятся, те так и горят. До следующего года.

А когда будешь молиться, сынок, ты всех нас прямо по отдельности, по именам поминай. А в конце прибавить: «Святый и великий Архистратиже Михаил, молю тя, выведи из ада всех сродников моих по плоти до колена Адамова». Не забудешь, сынок?

— Не забуду, — пообещал я, а про себя подумал, что это сказка, конечно. Апокриф.

Позднее наткнулся я на него, собирая материалы для заметки в какую-то приходскую газету. Текст, в котором содержалось нечто из того, что маме «люди сказали», назывался «Чудо Архистратига Михаила». Он не имел к православию никакого отношения, а принадлежал монофизитам древней коптской церкви. Попавшийся мне русский извод содержал множество несуразностей и откровенных глупостей. Должно быть, каждый из благочестивых переписчиков считал своим долгом подредактировать и дополнить это «письмо счастья», так что, в итоге, оно превратилось в причудливый фанфик из христианских верований и ветхозаветных фрагментов, из языческих преданий и древних египетских песен о разливе Нила. Разве только русских частушек не хватало в нем! Особенно впечатляло описание преисподней — все эти педагогические пресмыкающиеся «величиной с гадюку, ползающие по телам грешников», и драконы с медведями вповалку, и «неусыпающие черви», и прочие ящерогады клювоголовые. А еще говорилось в сем творении, что если кто «будет держать в доме записанное это чудо, к тому не войдет в дом никакое бедствие: ни язва, ни голод, ни всякая нечистота, крысы, мыши, саранча…». Ну, вот это-то правда, наверное — в качестве ядохимиката апокриф вполне сошел бы. А больше ни на что он не годен.

Но у тебя, мамочка, никогда не слышавшей сло́ва «апокатастасис», но сумевшей вырастить в душе своей надежду на будущую встречу с отцом, у тебя, пожалевшей всех насельников адовых и выдумавшей для них какие-то масла́ от ожогов, и ангелов-комбустиологов, и все эти крестные ходы от небесной завесы к преисподней, и пот, и колени, и белые крылья — какая светлая и красивая сказка получилась у тебя, мама! О как же ты верила, как верила ты в непреложное заступничество Архангела Михаила своего! И так ли уж важно, приходил он к тебе в духе, как приходил некогда к благочестивому Архиппу и к распутной Евдокии, и к Батыю на пути в Новгород, и ко множеству других праведников и грешников? Или это всего лишь твое воображение из множества лишений и горестей, напитавших твою жизнь, соткало себе собеседника в небесах и положило на него надежду свою — так ли это важно теперь? Вся твоя долгая жизнь, все восемь десятилетий, отделивших промерзшую кутырскую избу от прохладной больничной палаты — все они пронеслись сквозь тебя, как один Михайлов день.

…и мерзла мама, хотя в палате были герметичные пластиковые окна, и поглубже запахивала она на груди теплый ворсистый халат. И капельница с неумолимой аккуратностью отсчитывала и размеренно вливала в нее прозрачные порции едва теплящейся жизни. И стоял в палате резкий и горький дух предновогодних мандаринов.

— Миша, икону надо будет в храм отнести. Потом.

А я отвернулся к окну, завешенному извне белым снежным тюлем, и промолчал. Потому что не хотел относить. И не хотел, чтобы наступало «потом».

— Сынок, — опять позвала она. — Михаила Архангела надо в церковь вернуть.

— Мам, ты чего? Это наша семейная реликвия.

— Да какая же это реликвия, сынок? Это не реликвия, икона. Пред ней каждый день молиться надо, иначе теряет она силу. В доску крашеную превращается.

— Ну, и хорошо. Я и буду молиться.

— Сынок, да из тебя молитвенник известный! У тебя каждый вечер то друзья, то пиво, то футбол. Тебе и молиться-то некогда. А в храме всегда найдется кому. Вот и будет Архангел наш в силе!

— Ладно, мам, я подумаю.

— Миша, да здесь думать не надо. Надо взять и отнести. Обещаешь? Что отнесешь?

А я не успел ответить, потому что вошла ухаживавшая за мамой медсестра — молоденькая, стройная и русоволосая девчонка в коротком белоснежном халатике. Она подошла к маме, сняла и вынесла капельницу, а потом вернулась и принялась за влажную уборку. Мы стали прощаться…

В Чертаново. В церкви иконы Божией Матери «Державная». В правом приделе нижнего храма. За свечным ящиком. Между святым Сергием Радонежским и преподобным Серафимом Саровским. Там теперь мамин Архангел. И так неудачно определили место ему — за спинами свечниц и высоко-высоко. Так что не подойти к нему теперь, не дотянуться рукой, не согреть холодного лба о теплый его ковчег. А можно лишь смотреть на Архангела Михаила издали и, полагая крест, шептать осиротелыми губами обещанные маме молитвы. И знать, что, в отличие от матушки моей Степановны, никогда не явится мне шестокрылатых первый княже. Ибо, неплохо устроившийся на этой земле, не вижу и не ищу я собеседника в мире бесплотном. Оттого так редко и вяло читаю я предписанные правила и каноны, что мне особо и не о чем просить небеса.

ИГРА В ПРЯТКИ

В нежном возрасте больше всего на свете любил я мамины ночные дежурства. В начале шестидесятых детских садов было также мало, как сейчас, и пристроить ребенка было непросто. В один из таких садиков, что притулился на краю Андрианихи, мама устроилась на работу, и мне дали место. Мамина зарплата тогда делилась на две равные части — первую выдавали деньгами, а вторую квитком на оплату моего содержания. Родители радовались, ребенок был пристроен. А для денег мама шила вечерами ровесницам, обеспеченным куда лучше нее.

В штате детсада сторож не предусматривался, потому все сотрудники примерно раз в месяц должны были ночевать на работе, строго охраняя вверенное им имущество. Отец всегда охранял вместе с мамой, и… какие это были вечера! В нашей двенадцатиметровой коммуналке, где всегда было тесно, как в консервной банке, мама никогда не была такой счастливой, а отец таким воодушевленным. Я же в эти вечера ощущал себя настоящим повелителем мира, потому что все игрушки принадлежали мне одному.

Едва детей разбирали домой и ворота закрывались на замок, я бежал по группам и всюду зажигал свет. Мама ругалась, гасила, а я все равно зажигал. Мне было года четыре, и на второй этаж, в старшие группы, днем меня ни за что не пустили бы. А в своей группе за каждую машинку, кубик или пирамидку приходилось биться, часто до крови. И вдруг все это принадлежало мне одному! Но играть я не торопился, я торопился владеть. Обходил все комнаты, оценивая, все ли, как в прошлый раз. Во что поиграю до ужина, что оставлю на прятки, а до чего мне и дела нет. Игрушки были живые. Словно соревнуясь, они разом наваливались на глаза, и каждая мечтала, чтобы я выбрал именно ее.

Мама тем временем готовила ужин на детсадовской кухне. Последним приходил отец. Он заходил через заднюю калитку, раздевался, выкладывал на стол гостинцы для меня, бутылку «Старки» для себя и кислючего «Рислинга» для мамы. Мы ужинали втроем, рассказывая друг другу всякие глупости, и я отчетливо помню, как весело мы всегда смеялись. Особенно старался, конечно, я. Юродивый поселился во мне, что называется, от младых ногтей, и я, вспоминала мама, очень смешно пародировал воспитательниц и нянечек.

— Ольгу Сергевну покажи. Тетю Олю, — просил отец.

— Щас покажу, — отвечал я и вылезал из-за стола. — У-ух, анчу-у-ты! — шипел грозно, вытягивая губы трубочкой. — Весь пол извозззили… — И понарошку вываливал содержимое ложки на пол, а потом, спрыгнув со стульчика, возил над линолеумом воображаемой тряпкой.

— А теперь папу, папу давай, — улыбалась мама, поражаясь не столько схожести интонации, сколько тети Олиным, неторопливым и уверенным движениям в исполнении сына.

— Папу? Щас! — Я вздымал брови, так что они принимали почти вертикальное положение, и писклявил. — Вы что, мерин нимериный? Времьадинцать, асын ниспит! — И протянув обе ручки к поясу, как бы расстегивал пряжку и высвобождал из шлевок воображаемый ремень.

Восторгу родителей не было предела.

А потом мы играли в прятки, и первым всегда водил отец. Мама прятала меня в одном и том же месте — на кухне, в огромном, литров на двести, бачке, куда я умещался с головой и откуда мне была видна только тусклая вольфрамовая звездочка на пожелтевшем детсадовском небе. Несмотря на привычность места, чтобы найти меня, отцу всякий раз требовалось полчаса и больше. Все это время я возил по дну бачка какой-нибудь паровозик или листал книжку и мечтал о том, как здорово бы жить с родителями в детсаде. И оттого, что мечты мои были бурными и яркими, как радуга, голос отца всегда заставал меня врасплох. Хлопала дверь на кухню, и раздавалось растерянное: «Так-так… Ань, где ты его упрятала?.. А ну-ка посмотрим в большом бачке!». Шаги приближались, я пытался остановить клокочущее в груди дыхание, но вместо тишины из бачка выливался прерывистый шумный клекот, быстро перераставший в заливистый мальчишечий смех. Отец выуживал меня из бака сильными руками и прижимал к груди. Он был в трусах и майке, из-под которой местами выбивались кудрявые завитки, приятно щекотавшие лицо. Мама стояла рядом в новом байковом халате, с длинными распущенными волосами. Она была красивая, как Золушка на балу, и уставшая, как Золушка на кухне из той же сказки. По лицу ее стремительно перебегали язычки ласкового розового пламени.

— Вить, может, хватит, — притворно щурилась она, отнимая меня у мужа.

— Ага, как же! — обижался отец, — я вон сколько искал! Теперь твоя очередь.

Мама закрывала глаза руками, отворачивалась к стене и начинала медленно считать до десяти. Отец выносил меня в коридор.

— Пап, давай в старшей группе спрячемся, — каждый раз просил я, и отец охотно со мной соглашался. Со стороны мужиков это было мудрое решение, потому что мама всегда искала дольше отца. А когда находила, выглядела еще более усталой, растрепанной и счастливой.

Иногда, если было не поздно, мы спускались с отцом в подвал — в столярку, где штатный детсадовский столяр чинил поломанные нами стульчики и столы, ремонтировал оконные рамы и прочий деревянный хлам. Отец сам был столяром от Бога, краснодеревщиком. Всю мебель для нашей маленькой комнаты он делал сам: и кровати, и шкаф, и стол, и стулья. И еще трюмо, которому уже пятьдесят лет, и которое все еще украшает дачу. Работал отец по церквям. Он умел все — и полы стелил, и ковчежцы подновлял, и резные алтарные сени мог так отреставрировать, так вырезать, вклеить и состарить вставки, что его работа была неотличима от оригинала.

В детсадовской столярке отец учил меня строгать и пилить настоящими ручными инструментами. Фуганок, шерхебель, шлифтик, шлихтубель, медведка — это рубанки. Еще пилы — лучковая, обушковая, выкружная, пасовочная, наградка. Сами названия их звучали, как таинственная музыка, и эта музыка ни в чем не уступала бессмертному списку Гомера — «Аркесилай и Леит, Пенелей, Профоенор и Клоний. Копы, Эвтрез и стадам голубиным любезная Фисба…». Когда на втором курсе университета, во время сдачи древнегреческого, мне пришлось переводить именно этот отрывок из «Илиады», я живо вспомнил, как ласково произносил отец дивные имена, оглаживая отполированные чужими ладонями инструменты.

В столярке отец учил меня работать руками. Он всегда давал мне обушковую пилу, потому что у нее было жесткое полотно, и она не вихлялась, как другие. Я возил ее по доске частыми мелкими движениями, давил изо всех сил, плакал, сбивал пальцы, но доска не поддавалась — только царапалась. А отец, дождавшись, когда я вконец измотаюсь и отложу пилу, брал ее в свои спокойные руки и, ставя на пласть, говорил: «Смотри, сынок!». В его неторопливых, совсем без нажима движениях читались

опыт и страсть. Обушковая легко торцевала толстую доску, выкружная вытанцовывала симметричные изгибы, наградка аккуратно выбирала пазы.

Однажды, после очередного «урока», мы вышли на крылечко детсада. Отец посадил меня на колено и, раскачивая, как на бегущей лошадке, сказал:

— Ты запомни, Мишка, на всю жизнь! Инструмент, он сам все умеет. Ты, главное, не дави на него, не насильничай. И сам измучаешься, и его поломаешь. Твое дело направить как надо, а дальше он сам.

И разминая пальцами курку ленинградского «Беломора», задумчиво прибавил:

— И с людьми, сынок, то же самое!

Тогда я, конечно, не понимал, о чем он говорит.

А мама вышла на крыльцо с железным ведерком, спустилась к воротам и, выгружая в мусорный контейнер следы наших тайных торжеств, улыбаясь сказала отцу:

— Что ж вы, мерин немереный? Время одиннадцать, а сын не спит!

ОСЕННИЙ ТЕОЛОГУМЕН

Есть в осени первоначальной что-то неизбывно родное мне. Оттого, должно быть, что первый глоток воздуха, ворвавшийся в форточку костинского роддома и распечатавший мои легкие, был глотком бабьего лета. Оттого, должно быть, ни в какое иное время года мне так не любилось и не писалось. Не плакалось так, как в эти две с небольшим недели — от моего рождения до Рождества Богородицы. Никогда не бывает столько неба над нами, как в эти сентябрьские дни. Никогда больше не дорожишь так солнечным теплом, ибо зимой оно лед, по весне обманщик, а летом палач.

Есть что-то трагическое и вместе с тем честное в осенней борьбе изумрудного с охрой, в не сразу улавливаемой взглядом, но неизбежной победе последнего. Уже с юности знал я в себе эту

тревожную тягу к небытию, с которой могла сладить лишь сумасшедшая жажда жизни. Осень — ты моя родина, краешек Божьей правды. Ты учила многому, но прежде всего смирению. Кому из нас не дано было возрастать и расцветать, наливаться соками и мужать, подставлять плечи дождю — и тянуться, тянуться, тянуться к небу! Зачем? Чтобы, едва достигнув полноты, едва войдя в силу свою, расслышать изнутри «звук осторожный и глухой плода, сорвавшегося с древа». Услышать и понять, что время вышло. Время пришло.

Весна истерична, как восьмиклассница — уже созревшая, но еще не вкусившая. Осень царственна. Она вся — отдание. Она и уходит по-царски, не сбиваясь на мелкий шажок. Темными аллеями уходит, не стыдясь зрелой своей наготы, не проклиная Творца за неизбежную долю свою. Осень уходит по-хозяйски, лишь мельком взглянув на оставляемое за спиной мироздание. Так бросает стремительный взгляд через плечо хозяйка, ненадолго покидающая свой дом. Так уходила матушка Степановна, собиравшая смертный узелок в присутствии бестолкового сына и терпеливо, по нескольку раз объяснявшая — что, для чего, в какой последовательности и по какой причине.

И как всякий великодушный победитель, осень уходит красиво, на кураже. И память о последней солнечной улыбке — ну что, хороша я? — долго озаряет стылые зимние вечера. Да, хороша ты, осень, страсть как хороша! Но легко тебе верить в свое бессмертие: семь с половиной тысячелетий ты из года в год убеждаешься в нем. А каково мне, ни разу не умиравшему, а значит, и не воскресавшему? Годок и я бы потерпел, если б точно знал, что потом… А что потом? Суп с котом? Анаэробный бактериальный гидролиз? Минералогия?

Да разве не слышал ты, Павлов, как читают вечную книгу в алтарях русских храмов? Разве не читаешь и ты каждое утро Символ веры? Разве не тебе передал Ириней Лионский свое откровение? А если слышал и читал, отчего же не знаешь, что не бывает в Царствии Небесном супов с котами? И прочих гностических глупостей нет в нем. Образ Божий, по слову Иринея,

вписан во всякую плоть. И в твою, Павлов, в твою тоже! Творением Божиим стала плоть твоя еще до вдыхания жизни в нее. И сила Его, дарующая жизнь, явлена и чрез твою плоть. И это тебе знамение! Если Бог сотворил тебя из ничего, то тем более в силе Его воскресить тебя, ибо ты уже прежде был. И не только тебя и тебе подобных — вся красота Божьего мира, такая мучительная и родная, все удерживаемое в руке Божией — вся твердь и воды, все травы увядшие и дерева посеченные, все гады и рыбы морские, все птицы небесные и скоты, и звери земные — все воскреснет во плоти своей. Все преложится в свет и в огонь, но не расплавится и не сделается огнем, так чтобы не стало уже прежнего естества.

И Петр останется Петром, и Павел — Павлом, и Филипп — Филиппом. Каждый пребудет в собственном существе, и каждый по воскресении своем вспомнит себя. И все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы. Тогда узнаем мы всех, кого любили в земной жизни, и сами будем узнаны ими. И всех ненавидящих нас простим, и от обидимых нами не услышим порицания. Все, что мы потеряли, вернется, ибо все возвращается к себе. Все начинается, ибо прежде прекратилось. Все погибает ради своего сохранения. И весь порядок круговращения свидетельствует о воскресении мертвых. Осень, солнечная моя красавица — ты мне зарука в моей надежде, потому я так люблю тебя, потому мне так хорошо с тобой.

Я буду вспоминать тебя целый год, согреваемый надеждой, что в утро яблочного Спаса вновь зазвонят к Литургии. И я услышу. И открою заднюю калитку в сорное поле, и пойду сквозь легкий туман к храму. Напрямки. И еще от притвора, еще осеняя себя крестным знамением, увижу среди храма длинный белый стол, уставленный виноградом и деревенскими яблоками. И увижу, что хороши они для пищи и приятны для глаз. И что змия нет при них. И подходя к иконе Преображения потяну жадными ноздрями пьяный дух медуницы и мельбы, перевитый сладким афонским ладаном. И вновь поражусь ошеломительной новизне тысячекратно передуманной и перечувствованной мысли — смерти не будет уже. Дорогие мои, любимые, не будет уже

смерти-то! Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.

И всю долгую службу Преображения, объятый дрожью сокровенной, буду вновь и вновь привыкать к этой простой мысли. А как прочтут благодарственные молитвы да закроют царские врата, выйду из храма и тем же непаханым полем пойду к дому своему. И далеко-далеко, на другом берегу Нерской, вдруг окликнет меня вспыхнувший среди дубов и лещины огненный бересклет — письмецо твое врасплошное. И я пойму, радость моя, что ты вновь воскресла. И вот они, мои дни — от рождения до Рождества.